

ПОИСКИ СМЫСЛА

Общедоступно - 1986 - 18-18 дек. - с. 15 Зачеркнутая записка

Валентин
КУРБАТОВ

ИЕ, ЭТО все-таки необыкновенно и привыкнуть к этому нельзя — судьба обязательно ищет вставить слово в любое, даже и в простое твоё сочинение. Непременно ей надо в соавторы поступить! Иногда посреди уже клонящегося к концу текста заметишь, что все благие побуждения валяются, обдуманное до мелочей сюжет скучнее и морщится, а жизнь пробивается совсем в другой стороне. Тут лучше послушаться и свернуть за ней сразу. И тогда станет ясно, что никаких случайностей нет и все двигалось именно так, а не иначе, в назидание тебе и для очищения твоего зрения.

Я вот наткнулся на странную, смущающую страничку в дневнике М.М. Пришвина 1921 года о Пушкине и захотел непременно поговорить о ней, потому что мысль Пришвина была болезненна и касалась слишком близких и важных вещей. А дела не пустили за стол и повели в село Рождественно, в Выру Набокова, он любил этот родной ему дом в юные свои годы. Прошлой весной дом сгорел чуть не до основания и теперь усилиями А.А. Семочкина — директора музея, архитектора, плотника и мыслителя — возвращается к жизни снова. Сделано за год необычайно много, но все-таки, как обойдешь и поглядишь, отчаяние толкнет в сердце: сгоревшие дубы по фасаду мучительно тянут одну-две живые ветви, единственная опаленная до скелета колонна прямыми напоминанием о четырех портиках... Нет, этого не воспринять в таком же погорелом государстве, где ни денег, ни духа, ни веры. Если бы не покойная настойчивость директора и его бригады.

Ну, чего бы мне этот дом? С какой он стороны касается Пушкина и той записи Пришвина? Но тут-то я и вижу дружеский кивок судьбы и понемногу начинаю понимать, зачем она повела меня сюда именно в этот час и с этой мыслью.

Страница из Пришвина вот:
«Как бедна жизнь Пушкина! И еще вот что: создав, как никто в России, он под конец не знал, чем жить. Наивному сознанию кажется это странным, кажется, вот поработал сколько, и как хорошо оглянуться на сотворенное и сказать: как хорошо! Сказать: «Я памятник себе воздвиг» и тут же искать смерти, как будто всего отдал себя и ничего от себя себе не оставил и нечем жить стало. Стало быть, есть какая-то деятельность вся на благо другим и только во вред себе: стало быть, искусство во вред себе? Тут обман: думается, все для себя, но потом оказывается, что для себя-то как раз ничего и не делал. И лишаешься моральной заслуги: ведь для себя старался! Раздать все свое богатство и остаться ни с чем? Нужно раздать во имя Христа, и тогда остается Христос. Пушкин же просто раздал на великом пиру и, раздав, увидел себя бедным и одиноким. Гоголь потерял себя в этом вопросе, Толстой вовремя спохватился (хотя всегда был с запасом), но Достоевский, вот диво! Он как будто лишь обогатился и, кажется, проживи еще 100 лет, все полнее и глубже были бы его романы, он не старел!»

Страницу эту Пришвин в дневнике зачеркнул, так что как бы и нет, но понятно и то, почему публикаторы сохранили запись — также, видно, были задеты тревожным, неподъемным, очень русским вопросом: «Стало быть, искусство во вред себе?»

Эта зачеркнутая записка будет настаивать потом и самого Пришвина, и он в последние десятилетия загонит свой дневник нетерпеливым желанием оправдания творчества — как будто кто спрашивает и спрашивает. Такие вопросы хорошо задавать другим, но ответ можно получить только с себя и уже не рассуждением, а поступком. Картинное же общее место, будто сло-

во писателя и есть его поступок, на таких высоких порогах не успокаивает.

Но, кажется, Пришвин зачеркнул запись не только из опасения самому попасть под опасный вопрос, а потому что, еще не дописав, уже чувствовал сопротивление пушкинской тени. Это из наших учебников советской поры можно было заключить, что Пушкин встречал свою 36-летнюю «старость» с сознанием неудавшейся жизни. Можно при желании опереться на воспоминания современников, но лучше посмотреть, что он сам чертит себе в план оставшейся жизни: «Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические — семья, любовь — религия, смерть». В этом завещательном ряду все полно настоящего великого покоя, тайного счастья. Чего бы и всякому-то из нас желать, как не этого — поля, сад, семья, любовь, религия, смерть, — то есть именно ясная, полная, по-русски обыкновенная нормальная жизнь.

Нет, его не зря звали «последним эллином» России, последней гармонической нотой без единого неверного звука. Разве только сама смерть искала его, потому что время уже было не эллинское, Россия переезжала «из Афин в Иерусалим» (если воспользоваться определением Л. Шестова), жизнь начинала темнеть: в свете — свидетельствованным Гершеном общим молчанием, а в церкви — синодально-порочным христианством, утратившим радость под взглядом чиновного священства, идеал которого скоро выговорит Гоголь, еще вчера называвший поэта небесным огнем, от которого сами собой вспыхивали как свечи все, кто прикасался к нему. И сам Гоголь горел этой свечой, не потому ли первое требование, которое предъявляет пережившему Гоголю его духовник отец Матфей Константиновский: отречься от Пушкина, от всего, что с ним, в нем и за ним — от полноты жизни, от бесстрашия перед желаниями, от открытости слуха всякому голосу мира, а прямее сказать — от дара. Есть своя правда и у Гоголя, и у отца Матфея, и их советы могут пасть на благую почву и принести высокие плоды — но сейчас речь не об этом. Речь именно о пушкинском пути, о его служении Богу и людям. Так ли уж оно бесплодно и так ли уж при таком служении нечем жить?

Есть у одного расстрелянного молодого монаха, работы которого знал и любил Пришвин, рассуждения приблизительно такого свойства: у святого праведность идет впереди ума и он как бы и не знает до конца своего богатства, а у художника умозрение опережает чистоту сердца и потому бывает, что он знает больше святого, но не обладает предметом знания, что и составляет трагедию творчества.

Это мысль уж нового времени и диагноз нового художника. Тут по существу начало разлома нашей литературы. Тут граница. И когда мы следом за В.С. Соловьевым говорим, что «идея наши есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности», еще не разбавленного позднейшей сомнительной мыслью. И когда в зараженном смертью мире мы тоскуем по чувству единства, по утраченной цельности и неустанно твердим о соборности, подставляя под это понятие всяк свое значение (кто «Союз нерушимый», кто «Святую Русь»), — мы тоскуем по Пушкину, по этой счастливой растрате на пиру жизни, где, теряя себя, он собирал всех нас...

Да и разве не чувствуем мы и разве не сознаем со всей остротой, что любим Пушкина какой-то не вполне литературной любовью — совсем иной, чем любовь к Тургеневу, Толстому или Чехову? С каждым годом, приближающим нас к его двухсотлетию, это будет осознаваться острее, и, Бог даст, это как раз будет и выправлять нашу совсем уже обеспамятевшую, потерявшую всякую связь с родной землей

и историей душу. Мы все дети умо-зрения и давно уж все знаем, но не владем «предметом знания», и наша реальность, чувствуя свою «ненужность» литературе, тоже словно выдыхается, и мы уж будто и не землем живем, а книгами, в книгах, для книг, воспринимая и себя, и других как собрание цитат.

...Вот тут Набоков-то и выворачивается, тут-то мысль и замыкается.

Наглядевшись на умерший, истлевший дом, на муку его воскресения, я взял у директора Семочкина когда-то очень любимую набоковскую «Машеньку» — роман из первых, давних, сотканный как раз из реалий Рождественно и самого этого дома. Прочитал и ахнул. Как же это я прежде не видел! Ведь тут вместо любви героя и автора только роман о любви, чувство, введенное в кружево самодостаточных воспоминаний, таких тонких, пряных, стереоскопических, что сама-то реальная женщина, бедная эта Машенька герою уж и не нужна. Она помешала бы чистоте воспоминания, и герой спокойно отказывается от встречи. «Теперь он до конца насытился и образ Машеньки остался там — в доме теней, который сам уже стал воспоминанием».

Смею предположить, что и сама дивно воспетая Набоковым Россия была ему садом воспоминаний, «гербарием» юности и не граничила с реальной измученной Родиной, которая тяжело своей историей и жизнью противоречила книжному переводу. Она тоже была «роман», миф.

И дом, странно сказать, своей подлинностью противоречил своему мифологическому отражению — в «Машеньке», «Лужине», «Других берегах». Плоть и судьба этого ампиричного чуда медленно и непорочно расхохотались с метафизической жизнью авторской и читательской памяти. И дом жил, кажется, только до той поры, пока Набоков не был напечатан на родине весь, а как текст вернулся в Россию полностью, реальному дому, нажившему уже свою отдельную судьбу, стало нечего делать со своим книжным отражением. И он вспыхнул от «ничего», сам собою, как ни сомнительно покажется такое объяснение Гатчинской пожарной части.

Теперь он восстанавливается, и, зная упорство и любовь директора, я уверен, что непременно вернется «как был» и внешне ничего не будет говорить о трагедии, но мы-то будем знать, что под новой обшивкой чернеет сгоревшее сердце, что под благородно нарядным платьем — неживая, не знающая той реальности плоть, что это уже роман о доме, о любви, о той России, а не она сама...

Как хотите, а здесь знак. И он не к нашей чести. Так мы платим за путь умозрения, за уход с пушкинского пути, за подозрение, что «искусство во вред себе», за то, что, «раздав все на великом пиру», остаются ни с чем. Мы рискуем остаться с усадьбами, но без обитателей, с одной иллюстрацией, правдоподобной экспозицией вместо подлинного быта, с пониманием жизни вместо жизни, с готовностью переживать не сами страдания, любовь, одиночество, а мысли по поводу страдания и любви.

Сам Набоков в эссе о Пушкине писал: «Когда среди людей есть Человек, то его лучезарное влияние стоит лучших умов прошлого». Да и настоящего — тоже. Это именно то же, что писал помянутый мною монах о праведнике — он действует на мир самым фактом своего существования и своим «лучезарным влиянием» побеждает значение «специалистов по праведности». Потому-то, хоть по Пришвину жизнь Пушкина «бедна», но бедности этой хватает уже на два столетия и она все свежа и неразгадана, как на второй день после смерти, и с каждым новым читателем встает в загадочной полноте и новости в неоскудевающем богатстве и все ждет, что мы догадаемся, наконец, как жить, а не спрашивать и не вспоминать о жизни.